

Fedotova, Anna Aleksandrovna

**"Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?" :
полемика Н. С. Лескова с Л. Н. Толстым в изображении русского народа**

Новая русистика. 2018, vol. 11, iss. 2, pp. 47-55

ISSN 1803-4950 (print); ISSN 2336-4564 (online)

Stable URL (DOI): <https://doi.org/10.5817/NR2018-2-5>

Stable URL (handle): <https://hdl.handle.net/11222.digilib/138384>

Access Date: 21. 02. 2024

Version: 20220831

Terms of use: Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University provides access to digitized documents strictly for personal use, unless otherwise specified.

«Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?»: полемика Н. С. Лескова с Л. Н. Толстым в изображении русского народа

“Is It Possible at All to Create Anything with This Beast at the Very Moment?”: Nikolay Leskov’s and Leo Tolstoy’s Polemics about the Depiction of the Russian People

Анна Александровна Федотова

(Ярославль, Россия)

Abstract:

Nicolai Leskov’s short story *Vale of Tears* (1892) was written under the influence of the religious and moral teachings of Leo Tolstoy the writer was interested in in the 1880s-1890s. The result of Leskov’s attention to the work of his contemporary was the image of the main character of the story Aunt Polly. Meanwhile, despite the obvious Tolstoy’s allusions, the story *Vale of Tears* is internally polemical in relation to the key idea of Tolstoy’s doctrine of interrogation which was reflected in Leskov’s depiction of human life. The present article is devoted to the consideration of this yet unexplored aspect of the dialogue between the two writers.

Key words:

19th-century Russian literature; Leo Tolstoy; Nicolai Leskov; *Vale of Tears*; reception; intertextuality; polemic

Одним из принципиальных аспектов религиозно-нравственного учения позднего Толстого является поиск духовного и общественного идеала в патриархальной жизни. Начиная с 1880-х гг. эта идея постепенно привела писателя к стремлению «искоренить свою отдельность, ограниченность от общего мира ценой отказа от всего личного и растворения в общем патриархально-крестьянском мире» [LUČENECKAJA-BURDINA 2001, 95]. Идеал естественного человека, воплощением которого для Толстого стал русский крестьянин, пронизывает собой все толстовское «учение» и определяет самые разные его грани от призыва к «опрощению» до отказа от всех «искусственных» общественных форм, в разряд которых попали наука, искусство, медицина и образование.

Лесков, который сразу же заявил о себе в литературе как о знакомом с народом «не по беседам с петербургскими извозчиками» [LESKOV 1998, 206], как известно, был чужд какой бы то ни было идеализации русского простонародья. Каким же образом эта позиция Лескова совместилась с его «увлечением» толстовским учением? Для ответа на вопрос обратимся к анализу повести «Юдоль» (1892), которая, являясь оригинальным примером рецепции религиозно-нравственной «проповеди» Толстого, позволяет прояснить отношение писателя к народной жизни — в том числе увидеть полемические по отношению к толстовскому учению аспекты.

Повесть «Юдоль» посвящена ключевому, «страшному», по определению Л. Н. Толстого, вопросу, который занимал русское образованное общество во второй половине 1891 г.: охватившему почти половину губерний Российской Империи голоду. Для осмысления этой проблемы писатель обращается к событиям пятидесятилетней давности. В первой половине повести писатель натуралистично описывает зверские преступления крестьян, пострадавших от голода 1840 г., среди которых убийство шорника для изготовления свечи из его сала, попытка сжечь труп убитого мальчика двумя деревенскими девочками, убийство молодой женщиной своей престарелой родственницы «баульки».

Вторая часть произведения содержательно и структурно резко отличается от первой. Если повествование о бедственном положении крестьян композиционно представляет любимую Лесковым хронику (об этой форме подробнее см. [POSPÍŠIL 1986; POSPÍŠIL 2012]) т. е. не имеет единого центра, то вторая часть «рапсодии» сосредоточена вокруг рассказа о жизни одной из ее героинь — тетушки Пелагеи Дмитриевны, или «тети Полли». Последовательное изложение событий, приуроченное к годовому циклу, внезапно останавливается: вторая часть повести изображает короткий промежуток времени пребывания героини в имении родителей нарратора. Уже в первой характеристике тети Полли явно прослеживаются намеки на деятельность Толстого во время голода. Подготовленное во введении и авторском отступлении 5 главы упоминание

о «мужиках и бабах», которые «приводили с собою к ней на двор своих детей и все у нее наедались» [LESKOV 1958, 280], недвусмысленно отсылает к общественной работе Толстого по организации столовых для голодающих, о которой не раз писал Лесков в заметках для «Петербургской газеты» (об этом подробнее см. [FEDOTOVA 2018]).

Повествование о пребывании тети Полли в семье нарратора перемежается несколькими ретроспекциями. Упоминание о «бурном» прошлом героини для Лескова также принципиально. По воспоминаниям А. И. Фаресова, писатель «любил иногда приводить [...] следующее место из своей „Юдоли“: „я не нахожу никакой пользы в том, чтобы порочный человек, сознав свои дурные дела, сидел бы и все смотрел на свой живот, как это делают какие-то чудачки в Индии. У очень многих людей в их прошедшем есть порядочное болото, но что же пользы возиться в этом болоте? Лучше поскорее встать да отряхнуться и идти доброй дорогой“» [FARESOV 1904, 308–309]. Лесков постоянно напоминает читателям о «недостойном» прошлом тети Полли: «Тетя за эти намеки нимало не сердилась и от них не конфузилась: она, без сомнения, понимала, во что люди метили» [LESKOV 1958, 290], «притом, мы все очень грешны, — зачем нам мечтать так высоко! — молвила мать, конечно без всякого намека для тети» [LESKOV 1958, 298]. Отказ от «увлечений прошлых лет» — главная черта образа тети Полли — у Лескова ассоциировался как с его собственной биографией, так и с личностью Толстого: «Разве это худо, что мы на старости лет заговорили о праведной жизни? Печальна та страна, где старики плохи: не у кого молодежи будет поучиться. Я пил, курил, развратничал, а теперь бросил и другим советую искать опору жизни в другом ее образе» [FARESOV 1904, 308–309]. Образ тети Полли выступает как иллюстрация этого утверждения писателя.

Автор лаконично описывает итоги трансформации героини. Изменения в ее внешности («стала носить бесшвенно однообразного, самого простого фасона черное шерстяное платье зимою и такое же светлое ситцевое платье летом» [LESKOV 1958, 290]), бесстрашие в милосердии («лечила у крестьян самые неопытные болезни, сама своими руками обмывала их раны» [LESKOV 1958, 290]), чтение Евангелия, отказ от соблюдения внешних правил приличия («держали себя с гостями — как будто „занимать“ его или ее совсем не их обязанность» [LESKOV 1958, 290]) — все эти черты свойственны «праведницами» позднего Лескова, вспомним Клавдиньку из «Полунощников» или Лидию из «Зимнего дня» (об этом подробнее см. [DLUGOLECKA-PIETRZAK 2017; LUKAŠEVIČ 2017]).

Отношения героини с окружающими построены по принципу контраста: щедро приводимые писателем оценки тети Полли другими персонажами повести демонстрируют непонимание и насмешки над ней, что также

свойственно поздним произведениям писателя о героинях толстовского типа («стали находить, будто у бывшей „милой проказницы“ огрубели манеры и пропала женственность» [LESKOV 1958, 290]). Однако главное отличие «Юдоли» от «Полунощников», «Зимнего дня» или, допустим, «Заячьего ремиза» заключается в том, что в повести эти негативные высказывания постоянно корректируются прямо противоположными им оценками нарратора: «Так преобразил ее тот, кто жалеет об утрате одной овцы и, хватившись ее, оставляет девяносто девять овец, идущих своею дорогою, и ищет в кустах и тернии потерявшую путь одну овцу, и находит ее, берет ее на свои священные руки, и несет, и радуется, и дает радость всем, кому понятна и дорога радость, что ожил человек!» [LESKOV 1958, 291], «такое лицо, как она, в лихую годину сразу одним своим появлением наполняла сердца людей доверием и упованием, облегчающими в значительной мере всякое горе и „всякую язю в людех“» [LESKOV 1958, 293]. Стилистика приведенных фрагментов нарраториального текста выделяется на языковом фоне повести. Торжественный пафос нарратора создается благодаря применению Лесковым средств лексической и синтаксической выразительности речи: слов высокой стилистической окраски («преобразил», «година», «упованием»), перифраза («так преобразил ее тот...»), эпитетов («лихую годину»), метафор («наполняла сердца людей»), полисиндетонов («и несет, и радуется, и дает»), инверсий. Выразительный синтаксис позволяет Лескову приблизить эти фрагменты текста к ритмизованной прозе. В таком речевом окружении использованные Лесковым отсылки к евангельскому тексту (к притче о заблудившейся овце, аллегорически выражающей изменения в личности тети Полли, и описанию исцеления Христом больного) выглядят особенно патетически и «приподнимают» образ героини до недостижимой для остальных персонажей повести высоты.

Евангельские аллюзии, встречающиеся в нарраториальной характеристике тети Полли, готовят появление отсылок к Библии в речи самой героини. Биографическую ретроспекцию в «Юдоли» сменяет диалог тети Полли с отцом нарратора. Натуралистичной деталью, с помощью которой писатель возвращается в «реальность» повести, является упоминание об одном из ключевых эпизодов первой части произведения: «Отец рассказал ей известную историю со свечой из Кожиёнова (убитого крестьянами шорника Кожиена — А. Ф.) сала» [LESKOV 1958, 295]. Именно тете Полли Лесков «доверяет» оценить это безобразное событие, которое в «Юдоли» стало одним из символов царящего в народной среде насилия: «Когда был кончен рассказ о свече и о всем том, что записано выше в этих воспоминаниях, тетя Полли вздохнула и сказала: — Да!.. здесь юдоль плача... Голод ума, голод сердца и голод души.

Вот моток, в котором не знаешь, за какую нить хвататься!..» [LESKOV 1958, 295].

В речь тети Полли Лесков вкладывает выражение из обращенного к нему письма Толстого 4 июля 1891 г., посвященному «голодному вопросу»: «Против голода одно нужно, чтобы люди делали как можно больше добрых дел, — вот и давайте, — так как мы люди, — стараться это делать и вчера, и нынче, и всегда. — Доброе же дело не в том, чтобы накормить хлебом голодных, а в том, чтобы любить и голодных, и сытых [...] А покуда этого не будет — голод всегда будет. Он всегда и был, и не переставал: голод тела, голод ума, голод души» [TOLSTOJ 1958, 11–12]. Показательна трансформация толстовского текста писателем. Лесков редуцирует оригинальное высказывание, убирая из него слова «голод тела». Тем самым писатель, наконец, вербализует главную причину бессмысленных и отвратительных преступлений, многочисленные намеки на которую были разбросаны в первой части повести. Лесков подчеркивает духовное и нравственное невежество основной массы крестьянского населения, тот «голод сердца и души», который может быть утолен лишь из одного источника: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». В конечном итоге Лесков восстанавливает евангельский контекст толстовского утверждения, отсылая читателей к распространенной в Библии метафоре духовного голода.

Характер позиции Лескова проясняется при ее сравнении с толстовской точкой зрения, которая выражена в статье «О голоде». Пафос этой статьи близок процитированному выше письму Толстого к Лескову. В ней писатель — так же, как и нарратор «Юдоли», — отмечает, что положение крестьян в голодный год не имеет принципиальных отличий от их «нормальной жизни». Однако главной причиной бедственного положения народа у Толстого выступает причина социальная: «Наша связь с народом так непосредственна, так очевидно то, что наше богатство обуславливается его бедностью, или его бедность нашим богатством, что нам нельзя не видеть, отчего он беден и голоден» [TOLSTOJ 1957, 158]. В статье народная жизнь выступает как положительный полюс при противопоставлении ее жизни людей других сословий: «Мужик и его домашние ведь всегда все работают. Обычное нам состояние физической праздности есть бедствие для мужика [...] В мужицкой семье все члены ее с детства до старости работают и зарабатывают. Мальчик 12-ти лет уже в подпасах или в работниках при лошадях, девочка прядет или вяжет чулки, варежки. Мужик в заработках или вдали, или дома, или на поденной, или берет работу сдельно у помещиков, или сам нанимает землю. Старик плетет лапти; это его обычные заработки» [TOLSTOJ 1957, 153]. Созданная Толстым картина и по своему содержанию, и по интонации контрастна по отношению

к лесковской «Юдоли», в которой дан критический очерк не только социального, но также нравственного и духовного состояния крестьянства.

Еще раз толстовская цитата звучит в эпилоге повести. В краткой заключительной главе «Юдоли» Лесков синтезирует основные смысловые линии первой и второй части текста. В начале эпилога представлена народная точка зрения на долгожданный конец голода, что подчеркивается многочисленными кавычками, знаками «чужой» речи: «Хлеб созрел необыкновенно рано. В половине июня мужики уже парили в горшках рожь и ели ее немолотую, а к Петрову дню пекли „новый хлеб“. Петров день — это был „наш престол“ и „наш праздник“. Духовенство обходило с образами приход, пело молебны и собирало „новину“. На улице опять „шла гульба“, было „сыто и пьяно“; высоко „подмахивали качели“, и молодые люди, стеной наступая друг на друга, пели: „А мы просо сеяли!“ А другие отвечали: „А мы просо вытопчем. Ой, дид Ладо, вытопчем!“ А за ручьем на косогоре, где был кабак, разливало: „Наваримте, братцы, пива молодого...“» [LESKOV 1958, 312]. Многократно обращаясь к образам еды и питья, писатель рисует картину торжества телесной жизни. Между тем если в первой части текста точка зрения крестьян приводилась без прямой повествовательной оценки, то в эпилоге позиция нарратора выявляется вполне определенно: «Пошла опять знакомая струя, но эти звуки, долетевшие в нашу детскую, мне уже не были милы. Я уже рассуждал, что́ это за „дид“, что́ за „Ладо“? Зачем одни хотят „вытоптать“ то, что „посеяли“ другие? Я был тронут с старого места... Я ощущал *голод ума*, и мне были милы те звуки, которые я слышал, когда тетя и Гильдегарда пели, глядя на звездное небо, давшее им „зрение“, при котором можно все простить и все в себе и в других успокоить» [LESKOV 1958, 312].

Внутренний монолог нарратора подчеркивает, что основной конфликт повести остался неразрешенным. Неоднократное «опять» в его речи показывает, что устранение внешних обстоятельств голодного года ничего не изменило (и, конечно, не могло изменить) в сути народного характера в целом. Фольклорная песня, семантика которой связана с плодородием, оказывается очередным воплощением иррационального поведения крестьян («что́ это за „дид“, что́ за „Ладо“? Зачем одни хотят „вытоптать“ то, что „посеяли“ другие?» [LESKOV 1958, 312]), страшными примерами которого была насыщена первая часть повести. Обращение к толстовскому — и евангельскому — образу «голода ума», выделенного Лесковым курсивом, призвано вновь акцентировать внимание читателей на противопоставлении материального и духовного голода. Появление в последней фразе текста перволичного повествователя, в контексте повести всегда маркирующего семантически наиболее насыщенные фрагменты, призвано продемонстрировать путь нравственного и духовного

преодоления невежества и насилия, однако встает на путь прозрения лишь сам нарратор.

Ярким образом столкновения двух мировоззрений — народного и христианского — в эпилоге «Юдоли» выступает антитеза фольклорной и религиозной песен. Акцентированием темы музыки в эпилоге повести писатель эффектно «закругляет» ее композицию, отсылая читателей к подзаголовку «Юдоли». Необычное жанровое определение в духе позднего Лескова — «рапсодия» — неявно вводило музыкальную тему с самого начала текста. Специфический выбор музыкального жанра показателен. Во второй половине XIX в. рапсодия понималась как пьеса с двумя определяющими признаками: свободным, «импровизационным» стилем и опорой на народные мелодии, стремлением воспроизвести национальный дух. Девятнадцать «Венгерских рапсодий» (1847–1885) Ференца Листа, созданных с использованием цыганских мелодий, «Славянские рапсодии» (1878) Антонина Дворжака, «Русская рапсодия» (1891) Сергея Рахманинова, вероятно, были известны Лескову.

В «Юдоли» оказываются актуальными оба жанровых признака рапсодии. Основной принцип сочетания эпизодов, не связанных между собой единым сюжетом и строгой формой, сродни вариациям на музыкальную тему. Свободный характер наррации неоднократно подчеркивается в метатекстовых комментариях: «Воспоминания эти так неполны, бессвязны, отрывочны и поверхностны, что они отнюдь не могут представить многостороннюю картину народного бедствия» [LESKOV 1958, 219], «я вперед прошу у моих читателей снисхождения к скудости и отрывочности моего описания» [LESKOV 1958, 220], «не столько воспоминания об общей голодовке 1840 года, сколько частные заметки» [LESKOV 1958, 220]. Содержательное наполнение повести (изображение народа) также находится в силовом поле жанра рапсодии. Однако в семантическом пространстве произведения подзаголовки обретают иронические коннотации. Суеверие, невежество, непросвященность, наконец, насилие оказываются теми сторонами национального русского характера, которые наиболее ярко показаны в «Юдоли».

Рапсодия «Юдоль» представляет собой оригинальный жанровый эксперимент Лескова, в основе которого лежит совмещение документального и художественного повествования. Основная задача писателя носит отчетливо просветительский характер, Лесков размышляет о возможностях выхода из ситуации нравственного и культурного невежества народа, которая так откровенно показана писателем не только в «Юдоли», но и в «Импровизаторах» и «Загоне». В «рапсодии» этот путь показан вполне определенно и представляет собой своеобразный синтез учения позднего Толстого с христианством. Востребованными Лесковым оказываются те положения философии Толстого

1880-х гг., которые наиболее близки евангельскому учению (обращение к «внутреннему» человеку, необходимость нравственного совершенствования, деятельная забота о ближнем), знаком чего является настойчивое соединение высказываний писателя с библейскими цитатами. Обращение к слову Толстого, как и к евангельскому слову, оказывается в повести единственным средством преодоления иррационального, хаотического начала народной жизни, которое проявляется в том числе и в ничем не ограниченном насилии.

Между тем, несмотря на, казалось бы, очевидную «пропаганду» в повести взглядов Толстого, возможно, менее очевидно, но не менее важно и то, что в главной своей идее — утверждении дикого и непросвещённого состояния массы русского народа — Лесков входит в совершенное противоречие с учением своего современника. Главный адресат этико-религиозных трактатов Толстого — это представитель среднего или высшего слоя общества, образцом для совершенствования которого недвусмысленно провозглашался именно народный, «естественный», человек. Подобное утверждение моральных достоинств крестьян было совершенно чуждо Лескову, не питавшему каких бы то ни было иллюзий относительно русского мужика, что отразилось в одном из высказываний писателя тех лет, которое приводит А. И. Фаресов: «Этот народ рвет своих докторов и сестер милосердия, как мы видим, на куски и потом идет служить молебны [...] Ведь с этим зверьем разве можно что-нибудь создать в данный момент?» [FARESOV 1904, 43–44].

Библиография:

- DLUGOLECKA-PIETRZAK, M. (2017): *Świat wartości w twórczości N. Leskova*. In: POSPÍŠIL, I. (ed.): *Leskov i vokrug. Konteksty tvorčestva i sostojanije sovremennogo leskovovedenija*. Brno, s. 29–51.
- FARESOV, A. I. (1904): *Protiv tečenij: N. S. Leskov. Jego žizn', sočinenija, polemika i vospominanija o nem*. Sankt-Peterburg.
- FEDOTOVA, A. A. (2018): «*Trudnyj rost*»: *recepcija v proze N. S. Leskova*. Jaroslavl'.
- LESKOV, N. S. (1958): *Sobranije sočinenij v 11 t. T. 9*. Moskva.
- LESKOV, N. S. (1998): *Polnoje sobranije sočinenij v 30 t. T. 2. Sočinenija 1862–1863 gg.* Moskva.
- LUČENECKAJA-BURDINA, I. Ju. (2001): *Paradoksy chudožnika: osobennosti individual'nogo stilja L. N. Tolstogo v 1870-je — 1890-je gg.* Jaroslavl'.
- LUKAŠEVIČ, M. (2017): *Christianskije cennosti i predubeždenija v povesti Nikolaja Leskova «Polunoščniki»*. In: DOHNAL, J. (ed.): *Zlomová období ruské kultury z pohledu literatury (Karamzin, Leskov, Merežkovskij, Babel)*. Brno, s. 77–87.

- POSPÍŠIL, I. (1986): *Labyrint kroniky. Pokus o teoretické vymezení žánru*. Brno.
- POSPÍŠIL, I. (2012): *Jazyk, narace, žánr a kultura v literárních dílech N. S. Leskova*. In: BOHUNICKÁ, A. (ed.): *Jazykoveda v pohybe*. Bratislava, s. 17–27.
- TOLSTOJ, L. N. (1957): *Polnoje sobranije sočinenij v 90 t. T. 28. Proizvedenija 1891–1894 gg.* Moskva.
- TOLSTOJ, L. N. (1958): *Polnoje sobranije sočinenij v 90 t. T. 66. Pis'ma 1891–1893 gg.* Moskva.

Об авторе

Anna Alexandrovna Fedotova, Yaroslavl State Pedagogical University named after K. D. Ushinsky, Faculty of Russian Philology and Culture, Department of Russian Literature, Yaroslavl, Russian Federation, gry_anna@mail.ru

